

Базис и надстройка в марксистской теории культуры¹

РЕЙМОНД УИЛЬЯМС

 ЮБОЙ современный подход к марксистской теории культуры должен начинаться с рассмотрения тезиса об определяющем базисе и определяемой им надстройке. Но на самом деле, если занимать строго теоретическую позицию, нам, возможно, следовало бы начинать вовсе не с этого. Во многих отношениях предпочтительнее было бы исходить из утверждения, которое с самого начала было насколько центральным, настолько же верным, — социальное бытие определяет сознание. Не то чтобы эти два утверждения непременно исключали друг друга или друг другу противоречили. Но тезис о базисе и надстройке с его метафорическим элементом, подразумевающим фиксированное и совершенно конкретное пространственное отношение, оказывается, по крайней мере у некоторых авторов, весьма специфической и временами неприемлемой версией второго утверждения. Тем не менее в процессе перехода от Маркса к марксизму и в развитии самого марксизма как одного из основных интеллектуальных течений тезис об определяющем базисе и определяемой надстройке, как правило, считался ключевым для марксистского анализа культуры.

При анализе этого тезиса важно сознавать, что понятие, выражающее отношение, т. е. глагол «детерминировать», является очень сложным в лингвистическом и теоретическом отношении. Язык «детерминации» — более того, язык «детерминизма» — был унаследован от идеалистических и в особенности теологических представлений о мире и человеке. Примечательно, что Маркс использует обычное, но не единственно возможное в этом кон-

1. Перевод выполнен по изданию: © Williams R. Base and superstructure in Marxist cultural theory // Problems in Materialism and Culture: Selected Essays. London: Verso and NLB, 1980. P. 31–49. Редактор перевода Илья Инишев.

тексте немецкое слово «определять» (bestimmen), которое впоследствии — в английском переводе — становится словом «детерминировать» в одной из своих хорошо известных инверсий. Он выступает против идеологии, настаивающей на власти неких внешних по отношению к человеку сил или — в ее секулярной версии — на абстрактном детерминирующем сознании.

В своих утверждениях Маркс явно отвергает такую трактовку идеологии и усматривает исток детерминации в деятельности самих людей. Тем не менее примечательная история этого термина, а также способы его использования служат нам напоминанием о том, что в контексте повседневного употребления (и это верно для большинства основных европейских языков) существуют весьма различные значения и импликации слова «детерминация». С одной стороны, имеет место наследуемое от теологии представление о внешней причине, всецело предопределяющей или предвосхищающей, более того, полностью контролирующей любую последующую деятельность. Но существует и проистекающее из социальной практики понимание детерминации как установления пределов, осуществления давления.

Тем самым имеет место четкое различие между процессом установления пределов и осуществления давления (неважно, внешними ли силами или внутренними законами отдельных событий), с одной стороны, и тем альтернативным процессом, в котором последующее содержание всецело предсказано, предопределено и находится под полным контролем предсуществующей внешней силы — с другой. Но если взглянуть на многочисленные случаи применения марксистского анализа культуры, то придется признать, что именно идея предопределения, предвидения и контроля использовалась чаще всего явным или неявным образом.

НАДСТРОЙКА: оговорки и исправления

Понятие отношения (relationship) — это первое, что мы должны рассмотреть в вышеупомянутом утверждении, но сделать это следует, обратившись к самим состоящим в этом отношении терминам. Самое пристальное внимание всегда уделялось «надстройке» (Überbau). В обычном употреблении — после Маркса — она обрела основное значение единообразной «области», в которой располагается любая культурная и идеологическая деятельность. Но уже у самого Маркса, в поздней переписке Энгельса и у многих авторов последующей марксистской традиции мы

находим ряд оговорок, касающихся детерминированности некоторых видов надстроечной деятельности. Первый тип оговорки связан с задержками во времени, с осложнениями, с некоторыми косвенными или относительно удаленными отношениями. Простейшая идея надстройки, которая ни в коем случае не отвергнута полностью, предполагала отражение, имитацию или воспроизводство реальности базиса в надстройке с большей или меньшей степенью непосредственности. Позитивистская трактовка отражения или воспроизводства, конечно же, оказывала этой идее непосредственную поддержку. Но ввиду того что во многих видах реальной культурной деятельности это отношение не может быть обнаружено вовсе или, по крайней мере, без усилий и даже насилия над исследуемой практикой или материалом, было введено представление о задержках во времени, знаменитых запаздываниях, о многообразных технических сложностях и косвенности, в связи с которыми определенные виды деятельности в культурной сфере — например, философия — находятся на большом расстоянии от первичной экономической деятельности. Таков был первый этап процесса уточнения понятия надстройки. Это уточнение носило, по сути, операциональный характер. Второе уточнение было связано с первым, но было более фундаментальным, поскольку в этом случае сам процесс отношения подвергался более основательному рассмотрению. Это был род переосмысления, вызвавший к жизни понятие «медиация» (mediation), которое настойчиво наводит на мысль о чем-то большем, чем просто отражение или репродукция, о чем-то принципиально отличном и от отражения, и от репродукции. Во второй половине XX века появляется понятие «гомологичных структур», которые не предполагают прямого и легко различимого сходства и уж тем более никакого отношения отражения или репродукции между надстроечным процессом и реальностью базиса, но в которых есть непременная гомология, или аналогия структур, обнаруживаемая при анализе. Это не то же самое понятие, что медиация, но оно заключает в себе исправление того же рода, согласно которому отношение между базисом и надстройкой не обязано быть непосредственным, и его не следует рассматривать как попросту операционально зависимое от запаздываний, усложнений и косвенностей, поскольку по своей природе оно не подразумевает прямого воспроизводства.

Все эти оговорки и исправления важны. Но мне кажется, что общепризнанное понятие «базиса» (Basis, Grundlage) заслуживает столь же тщательного рассмотрения. И в действительности я готов утверждать, что базис — это концепт, который следует рассматривать в первую очередь, если мы хотим понять реалии

культурного процесса. Во многих случаях использования положения о базисе и надстройке, понимаемого в ставшем уже привычным смысле, «базис» трактуется по сути в качестве объекта, или же — в не столь крайних случаях — он рассматривается, в сущности, единообразно и, как правило, как нечто статическое. «Базис» — это реальное социальное существование человека. «Базис» — это реальные производственные отношения, соответствующие стадии развития материальных производительных сил. «Базис» — это способ производства на определенном этапе его развития. Мы высказываем и повторяем утверждения подобного рода, однако такое использование понятия «базис» весьма отличается от Марксова акцента на производственной деятельности — в рамках соответствующих структурных отношений, — составляющей основание всех других видов деятельности. В то время как отдельный этап развития производства может быть обнаружен и определен путем анализа, на практике он никогда не будет представлять собой нечто единообразное или статичное. В действительности это один из центральных элементов Марксова чувства истории: осознание глубоких противоречий в отношениях производства и в проистекающих из них социальных отношениях. Поэтому и существует постоянная возможность динамического варьирования этих сил. Более того, когда эти силы понимаются так, как Маркс их всегда понимал, — в качестве специфической деятельности и взаимоотношений реальных людей — они подразумевают нечто гораздо более активное, более сложное и более противоречивое, чем нам позволяет понять сформировавшееся метафорическое представление о базисе.

БАЗИС И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ

Итак, следует уточнить, что когда мы говорим о «базисе» мы имеем в виду процесс, а не состояние. И мы не можем приписать этому процессу конкретных неизменных свойств, которые в дальнейшем превращаются в разнообразные процессы, происходящие в надстройке. Большинство из тех, кто стремился сделать общераспространенное утверждение более обоснованным, сосредотачивались на уточнении понятия надстройки. Но я считаю, что каждый термин этого утверждения должен быть подвергнут переосмыслению в отдельном направлении. Мы должны переосмыслить «детерминацию» в направлении идеи установления пределов и осуществления давления, а не в направлении идеи предсказуемости, предопределенности и контролируемости. Мы должны переосмыслить надстройку

в направлении ряда связанных с ней практик, а не в направлении представлений об отражении, воспроизводстве или особой зависимости. Мы должны переосмыслить надстройку в направлении ряда связанных с ней практик, не оглядываясь на отраженное, репродуцированное или специфически зависимое содержание. И, самое главное, мы должны переосмыслить «базис», двигаясь прочь от идеи фиксированной экономической или технологической абстракции по направлению к специфическим человеческим деятельности, осуществляемым в контексте реальных общественных и экономических отношений, содержащих в себе фундаментальные противоречия и вариации, и потому всегда представляющих собой динамический процесс.

Стоит рассмотреть еще один смысл, скрывающийся за стандартными определениями. «Базис» включает в себя — особенно в свете известных тенденций XX века — строгий и ограниченный смысл основной отрасли промышленности. Акцент на тяжелой промышленности даже играл определенную культурную роль. И это ставит перед нами проблему более общего характера, поскольку мы оказываемся вынуждены вновь обратить наше внимание на обычное понимание производительных сил. Несомненно, то, что интересует нас в базисе — это в первую очередь производительные силы. Тем не менее здесь следует провести ряд крайне важных различий. Верно, что в своем анализе капиталистического производства Маркс понимал «производительный труд» в совершенно конкретном и специфическом смысле, в соответствии с доминировавшим тогда способом производства. В «Очерках» есть один трудный пассаж, в котором говорится, что в то время как человек, создающий пианино, является производительным рабочим, возникает серьезный вопрос: можно ли признать производительным рабочим того, кто продает пианино. Вероятно, можно, потому что он вносит вклад в достижение прибавочной стоимости. Но когда очередь доходит до человека, играющего на пианино, неважно для себя самого или для других, никаких вопросов не возникает: он вообще не принадлежит к разряду производительных рабочих. Таким образом, изготовитель пианино — это базис, пианист же — надстройка. Данный способ рассмотрения культурной деятельности как таковой и, следовательно, экономики современной культурной деятельности, несомненно, ведет нас в тупик. Но для любого теоретического прояснения крайне важно признать, что Маркс в данном случае занимался анализом конкретного вида производства: капиталистического товарного производства. В своем анализе этого способа производства он должен был придать понятиям «производительный труд» и «производительные силы» специфическое значение первичной работы

с материалами в форме производства товаров. Однако это заметно сужает — а в культурном контексте ущерб от такого сужения очень значителен — его более важное понятие производительных сил, которое предполагает, что — позволим себе лишь краткое напоминание — самая важная вещь, которую когда-либо производит рабочий, — это он сам, он сам в виду определенного рода труда, или в виду более широкой исторической акцентуации людей, производящих самих себя, самих себя и свою историю. Теперь, когда мы говорим о базисе и первичных производительных силах, крайне важно осознавать, что именно мы имеем в виду: первичное производство в смысле капиталистических экономических отношений (как это стало привычным в одной дегенеративной форме этого утверждения) или первичное производство самого общества, самих людей, материальное производство и воспроизводство самой жизни. Если мы понимаем производительные силы в широком смысле, мы совершенно иначе смотрим на проблему базиса, и мы в меньшей степени склонны отвергать как надстроечные и в этом смысле как всего лишь вторичные некоторые жизненно важные производительные социальные силы, которые в широком смысле, с самого начала являются базисными (basic).

ПРИМЕНЕНИЯ ТОТАЛЬНОСТИ

Однако ввиду трудностей, проистекающих из обычного понимания положения о базисе и надстройке, возникло альтернативное и очень важное дополнение в виде акцента на социальной «тотальности», ассоциирующегося в первую очередь с Лукачем. Эта тотальность социальных практик противопоставлялась слоистому представлению о базисе и проистекающей из него надстройке. Это понятие тотальности практик совместимо с идеей социального бытия, детерминирующего сознание, однако из этого вовсе не следует, что оно интерпретирует этот процесс в терминах базиса и надстройки. Теперь дискурс тотальности стал общепринятым. Он и в самом деле более приемлем, чем представление о базисе и надстройке. Но лишь с одной очень важной оговоркой. Представление о тотальности может очень легко лишиться основного содержания первоначальный марксистский тезис. Так как если мы начнем утверждать, что общество составлено из большого количества социальных практик, которые формируют конкретное социальное целое, и если мы признаем специфику каждой из этих практик, лишь добавляя, что они взаимодействуют, друг с другом связаны и сочетаются крайне сложными способами, то получится, что на одном уровне мы

куда более явно говорим о реальности, но на другом отказываемся от тезиса о существовании некоего процесса детерминации. А этого бы мне совсем не хотелось делать. В действительности, ключевой вопрос, который возникает по поводу любого понятия тотальности в теории культуры, звучит следующим образом: включает ли в себя понятие тотальности понятие интенции.

Если тотальность просто конкретна, если она попросту представляет собой признание большого разнообразия разнородных и актуальных практик, тогда она в принципе лишена какого-либо специфически марксистского содержания. Интенция, понятие интенции возрождает ключевой вопрос или скорее ключевой акцент. Если верно, что любое общество представляет собой сложное целое, состоящее из таких практик, то столь же верно, что любое общество имеет специфическую организацию, специфическую структуру, и что принципы этой структуры и организации могут рассматриваться как непосредственно связанные с определенными социальными интенциями, — интенциями, посредством которых мы определяем общество; интенциями, которые в любом нашем опыте представляют собой стандарт соответствующего класса. Одно из неожиданных следствий непродуманности модели «базис-надстройка» — слишком легкое принятие моделей, которые кажутся более продуманными (модели тотальности или сложного целого), но при этом исключают факты социальной интенции, классовый характер конкретного общества и так далее. И это говорит нам о том, сколь многое мы теряем, если вообще отказываемся от придания особого значения надстройке. Таким образом, мне доставляет немало трудностей рассматривать процессы в сфере искусства и мышления как относящиеся к надстройке, понимаемой в смысле обычно используемой формулы. Однако если во многих областях общественной и политической мысли — в некоторых разновидностях ратифицирующей теории, некоторых разновидностях права, некоторых разновидностях институтов, которые, согласно исходным формулировкам Маркса, несомненно представляли бы собой часть надстройки, — если во всех этих разновидностях социального аппарата и в решающей сфере политической и идеологической деятельности и конструирования нам не удастся разглядеть надстроечный элемент, то нам вообще не удастся распознать реальность. Эти законы, установления, теории, идеологии, которые очень часто объявлялись естественными или универсально значимыми, попросту должны быть восприняты как выражение и утверждение господства отдельного класса. В самом деле, трудности пересмотра формулы «базис-надстройка» во многом связаны с позицией многих активистов, которые вынуждены бороться с этими института-

ми и понятиями, а также вести экономическую борьбу. Согласно их позиции, если эти институты и их идеологии не воспринимаются в свете упомянутого отношения зависимости и одобрения, если их претензии на универсальную значимость или легитимность не отрицаются и не оспариваются, тогда классовый характер общества перестает быть видимым. Именно к таким выводам приводят отдельные интерпретации тотальности как формы описания культурного процесса. Я думаю, мы только в том случае сможем использовать понятие тотальности надлежащим образом, если будем сочетать его с другим важным марксистским понятием: понятием «гегемонии».

КОМПЛЕКСНОСТЬ ГЕГЕМОНИИ

Великой заслугой Грамши следует признать то, что он обратил внимание на проблему гегемонии и осмыслил ее, как мне кажется, на редкость глубоко. Гегемония подразумевает существование чего-то поистине тотального, того, что не является всего лишь вторичным или принадлежащим к надстройке, подобно идеологии в слабом смысле. Речь, напротив, идет о чем-то, что пережито столь глубоко, что настолько пропитывает собой общество и что, по словам Грамши, даже учреждает субстанцию и пределы здравого смысла людей, находящихся под его влиянием, что оно куда убедительнее соответствует реальности социального опыта, чем любые понятия, выведенные из формулы базиса и надстройки. Если бы идеология была всего лишь абстрактным навязанным набором идей, если бы наши общественные, политические и культурные представления, допущения и привычки были всего лишь результатом специфических манипуляций, разнообразию публичного тренинга, который мог бы быть попросту прерван или отброшен, тогда привести в движение и изменить общество было бы значительно проще, по сравнению с тем, что было и существует сегодня на практике. Это понятие гегемонии, глубоко пропитавшее общественное сознание, кажется мне основополагающим. И гегемония имеет преимущество перед широкими представлениями о тотальности, поскольку она в то же время ставит акценты на фактах доминирования.

Однако временами, когда я сталкиваюсь с дискуссиями о гегемонии, я чувствую, что она — как понятие — вновь постепенно сводится к относительно простой, единообразной и статичной идее, каковой стала «надстройка» в обычном употреблении. Я же считаю, что мы должны обладать комплексным представлением о гегемонии, когда мы говорим о какой-либо реальной общественной формации. Прежде всего, мы должны дать такое

описание гегемонии, которое допускало бы реальное и постоянное изменение ее элементов. Мы должны подчеркивать, что гегемония не является чем-то однородным; что ее собственные внутренние структуры крайне сложны и нуждаются в постоянном обновлении, воссоздании и защите, и к тому же они могут подвергаться постоянным вызовам и изменениям. Поэтому вместо того, чтобы просто говорить о «конкретной гегемонии» или «некой гегемонии», я хочу предложить модель, которая допускает вариации и противоречия, множество альтернатив и процессы изменения.

Первое, что бросается в глаза в некоторых из лучших образцов марксистского анализа культуры, так это то, что он чувствует себя куда более уверенно в том, что можно было бы назвать *эпохальными* вопросами, нежели в том, что мы называем *историческими* вопросами. То есть он обычно гораздо лучше распознает масштабные особенности различных эпох общества (например те, что отличают феодальную эпоху от буржуазной), нежели различные фазы в развитии буржуазного общества и различные моменты внутри этих фаз, что как раз и составляет тот подлинный исторический процесс, который требует гораздо большей точности и тщательности анализа, чем неизменно эффективный эпохальный анализ, сосредоточенный на главных отличительных чертах и особенностях.

Теоретическая модель, с которой я пытался работать, именно такова. В первую очередь я бы сказал, что в любом обществе, в каждый конкретный период существует центральная система практик, смыслов и ценностей, которую правильно было бы назвать доминантной и действующей. Это не предполагает никаких допущений относительно ее ценности. Я говорю только, что она является центральной. На самом деле я бы назвал это корпоративной системой, однако это может сбивать с толку, поскольку Грамши использует «корпоративный» для обозначения второстепенных элементов гегемонии в противоположность универсальным и главенствующим элементам. В любом случае то, что я имею в виду — это центральная, действующая и доминантная система смыслов и ценностей, которые отнюдь не абстрактны, но организованы и пережиты. Вот почему гегемония не должна восприниматься на уровне одних только мнений или одних только манипуляций. Это целый комплекс практик и ожиданий: наше распределение энергии, наше обыденное понимание природы человека и его мира. Это набор смыслов и ценностей, которые — как только они испытаны в качестве практик — моментально подтверждают друг друга. Таким образом, гегемония формирует чувство реальности у большинства членов общества, чувство абсолютной, ибо пережитой реальности,

за пределами которой большинству членов общества оказывается крайне затруднительно действовать в большинстве сфер их жизни. Но эта система ни в коем случае не статична, хотя для нужд абстрактного анализа иногда может быть представлена таковой. Напротив, мы можем понять действующую и доминантную культуру, только если мы понимаем реальный социальный процесс, от которого она зависит. Я имею в виду процесс инкорпорирования. Способы инкорпорирования обладают большой социальной важностью. Образовательные учреждения, как правило, играют главную роль в транслировании действующей доминантной культуры, и речь здесь идет как о более важной экономической, так и о культурной деятельности, причем одновременно. Более того, на философском уровне, на истинном уровне теории и на уровне истории разнообразных практик находится процесс, который я называю *селективной традицией*: то, что в системе координат действующей доминантной культуры уже выдало себя за «Традицию», за «Знаменательное прошлое». Но именно селективность является ключевым пунктом. Она представляет собой способ, каким из всей возможной сферы прошлого и настоящего выбираются для акцентирования некоторые смыслы и практики, в то время как другие смыслы и практики игнорируются и исключаются. Даже более того, некоторые из этих смыслов и практик по-новому интерпретируются, выхолащиваются или отливаются в формы, которые соответствуют или, по крайней мере, не противоречат другим элементам действующей доминантной культуры. Процесс образования, процесс более масштабного социального тренинга в рамках институтов, подобных семье, практические дефиниции и организация труда, селективная традиция на интеллектуальном и теоретическом уровне — все эти силы вовлечены в непрерывное создание и переделывание действующей доминантной культуры. И именно от них — пережитых, встроенных в нашу жизнь — и зависит ее реальность. Если бы все, что мы благодаря им усваиваем, было бы лишь навязанной идеологией, или если бы это были лишь поддающиеся обособлению смыслы и практики правящего класса или части правящего класса, навязываемые нам посредством оккупации наших умов, то — ко всеобщей радости — избавиться от всего этого было бы не так трудно.

Дело не только в глубинах, до каких простирается этот процесс, комплектуя, организуя и интерпретируя наш опыт. Дело также в том, что он непрерывно действует и адаптируется. Это не просто прошлое, сухая идеологическая шелуха, от которой мы с легкостью могли бы избавиться. И такое возможно только в сложном обществе, когда этот процесс представляет собой нечто более субстанциальное и подвижное, чем любая абстракт-

ная навязанная идеология. Таким образом, мы должны осознавать альтернативные смыслы и ценности, альтернативные мнения и позиции и даже некоторые альтернативные ощущения мира, которые могут быть восприняты и дозволены в рамках конкретной действующей и господствующей культуры. Это обстоятельство было недостаточно четко отмечено в наших определениях надстройки и даже в некоторых определениях гегемонии. И это упущение вынуждает нас обратиться к проблематике индифферентной комплексности. В политической практике, например, существуют некоторые по-настоящему инкорпорированные модусы того, что тем не менее — в рамках этой системы координат — является оппозициями, пережитыми и завоеванными. Их существование в модусе инкорпорированности дает о себе знать в том факте, что, вне зависимости от степени внутреннего конфликта или внутреннего варьирования, на практике они не выходят за пределы центральных эффективных и доминантных дефиниций. Это верно, например, для практик парламентской политики, несмотря на то, что ее внутренние оппозиции совершенно реальны. Это справедливо и для всего многообразия практик и дискуссий во всяком реальном обществе, которые никоим образом не могут быть сведены к идеологическому покрывалу, но которые тем не менее могут быть подобающим образом проанализированы как корпоративные в предложенном мной смысле, если мы убеждены, что, независимо от степени внутренних противоречий и вариативности, они в конечном итоге не выходят за пределы центральных корпоративных дефиниций.

Но если мы утверждаем такое, мы должны вновь задуматься об истоках того, что не является корпоративным, о тех практиках, опытах, смыслах и ценностях, которые не составляют часть действующей доминантной культуры. Это может быть выражено двумя способами. Несомненно, существует нечто такое, что мы можем назвать альтернативным действующей доминантной культуре, и есть что-то еще, что мы можем назвать оппозиционным в подлинном смысле этого слова. Степень реальности этих альтернативных и оппозиционных форм тесно связана с постоянными историческими изменениями реальных обстоятельств. В некоторых обществах можно найти сферы социальной жизни, в которых вполне реальные альтернативы как минимум не задействованы. (Если они становятся доступными, они, конечно же, оказываются частью корпоративной организации). Наличие возможности оппозиции, ее артикуляции, степень открытости и прочее снова зависят от совершенно конкретных политических и социальных сил. Тогда по отношению к действующей и доминантной культуре факты альтернативных

и оппозиционных форм социальной жизни и культуры должны восприниматься как зависимые от исторической вариативности и как исключительно важные источники информации о самой доминантной культуре.

ОСТАТОЧНЫЕ И ЗАРОЖДАЮЩИЕСЯ КУЛЬТУРЫ

Далее я должен ввести еще одно различие: между *остаточными* и *зарождающимися* формами как альтернативной, так и оппозиционной культур. Под «остаточными» я понимаю некоторые опыты, смыслы и ценности, которые не могут быть удостоверены или не могут быть выражены в категориях доминантной культуры, но которые тем не менее переживаются и практикуются на основе остатка — как культурного, так и социального — некоторой предшествующей социальной формации. Реальный пример этого можно найти в некоторых религиозных ценностях на фоне совершенно очевидной инкорпорации большинства религиозных смыслов и ценностей в доминантную систему. То же самое верно — в культурах, подобных британской — для представлений, проистекающих из аграрного прошлого и пользующихся значительной популярностью. Остаточная культура обычно сохраняет некоторую дистанцию по отношению к действующей доминантной культуре, однако следует осознавать, что в реальных культурных практиках она может оказаться включенной в нее. Это происходит потому, что некоторая ее часть, некоторая ее версия — особенно если речь идет об остатке некой важной области прошлого — во многих случаях должна будет инкорпорироваться, если действующая доминантная культура продолжает быть значимой в тех областях. Это также связано с тем, что в некоторых случаях доминантная культура не может допустить избытка практик и опытов подобного рода вне собственных пределов, по крайней мере, без риска для себя. Таким образом, давление реально, однако определенные подлинно остаточные смыслы и практики в некоторых важных случаях продолжают существовать.

Под «зарождающимися» я понимаю, в первую очередь, такое положение дел, когда непрерывно создаются новые смыслы и ценности, новые практики, новые значимости и виды опыта. Но вместе с тем довольно рано предпринимаются попытки инкорпорировать их, просто потому, что они составляют — пока еще неопределенную — часть актуальных практик. В самом деле, для нашего собственного исторического периода имеет значение, насколько рано предпринята эта попытка, насколько восприимчива доминантная культура ко всему, что может быть расценено как зарождающееся. В таком случае мы должны понять,

прежде всего, существовала ли темпоральная связь между доминантной культурой и зарождающейся культурой, с одной стороны, а также между доминантной культурой и остаточной культурой, с другой. Но мы сможем это понять, только если сможем провести различие — которое обычно требует крайне тщательного анализа — между инкорпорированным и неинкорпорированным остатком. Очень многое о каждом конкретном обществе говорит то, насколько глубоко оно проникает в разнообразие человеческих практик и опытов, пытаясь их инкорпорировать. Например, для некоторых ранних фаз развития буржуазного общества верно то, что в нем были некоторые сферы опыта, без которых бы оно предпочло обойтись, которые оно готово было рассматривать как области приватной или артистической жизни: как то, что не составляет особого интереса для общества или государства. Этому положению дел отвечало наличие в обществе известной доли политической терпимости, даже если реальность этой терпимости настойчиво отрицалась. Но я уверен, что для общества, сформировавшегося после последней войны, верно то, что постепенно — в силу изменений, произошедших в социальном характере труда, социальном характере коммуникации и принятия решений — оно проникает гораздо глубже, чем когда-либо прежде в капиталистическом обществе в определенные, прежде им не освоенные области опыта, практик и смыслов. Так, эффективное решение относительно того, является ли практика альтернативной или оппозиционной, сегодня часто принимается в рамках гораздо более узкого спектра возможностей. Существует простое теоретическое различие между альтернативным и оппозиционным, т.е. между тем, кто просто находит другой образ жизни и хочет, чтобы его оставили в покое, и тем, кто находит другой образ жизни и хочет изменить общество в его свете. Обычно этому соответствует различие между разрешениями социального кризиса, предлагаемыми индивидами или небольшими группами и теми решениями, которые, строго говоря, находятся в ведении политических, а в конечном счете революционных практик. Но в действительности зачастую только очень тонкая линия разделяет оппозиционное и альтернативное. Некоторый смысл или какая-то практика могут восприниматься как отклонение, но все же они будут считаться лишь другим, особым образом жизни. Однако по мере расширения неизбежной области эффективного доминирования, те же самые смыслы и практики могут быть восприняты доминантной культурой не просто как игнорирующие или презирающие ее, но и как бросающие ей вызов.

Но для любой марксистской теории культуры крайне важно, чтобы она могла дать адекватное объяснение истокам воз-

никновения всех этих практик и смыслов. Мы можем понять, оставаясь в рамках обычного исторического подхода, по меньшей мере некоторые из истоков остаточных смыслов и практик. Они представляют собой итоги предшествующих общественных формаций, в которых были сформированы определенные реальные смыслы и ценности. Ввиду последующего затем отсутствия некоторых фаз доминантной культуры, происходит возврат к тем смыслам и ценностям, которые были сформированы в реальных обществах прошлого, и которые, как кажется, еще имеют некоторое значение, поскольку они репрезентируют области человеческого опыта, стремлений и достижений, которые доминантная культура недооценивает, которым противится или которые даже не в состоянии распознать. Но самой сложной для нас в теоретическом отношении задачей является поиск не-метафизических, не-субъективистских объяснений для зарождающихся культурных практик. Более того, часть нашего ответа на этот вопрос имеет отношение к основам устойчивости остаточных практик.

КЛАСС И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

У нас и в самом деле имеется под рукой один источник из средоточия марксистской теории. У нас есть формирование нового класса, обретение новым классом самосознания. Этот источник, вне всяких сомнений, по-прежнему сохраняет большое значение. Конечно, сам по себе этот процесс формирования усложняет любую простую модель базиса и надстройки. Он также усложняет некоторые привычные трактовки гегемонии, хотя это было основной целью Грамши — увидеть и создать посредством организации такую гегемонию пролетарского толка, которая могла бы бросить вызов буржуазной гегемонии. Тем самым у нас есть один основной источник новой практики: становление нового класса. Но мы должны определить и другие виды источников, некоторые из которых весьма важны для культурной практики. Я бы сказал, что мы можем определить их на основе следующего утверждения: в действительности ни один вид производства и, следовательно, никакое доминантное общество или порядок общества и, следовательно, никакая доминантная культура не исчерпывает всего спектра человеческой практики, человеческой энергии и человеческих намерений (этот спектр — не просто перечень того, что входит в некую изначальную «человеческую природу», а, напротив, — широкий диапазон вариаций, как реализованных, так и воображаемых, способностью к которым когда-либо обладало человеческое существо). Конечно, мне

кажется, что это утверждение не носит исключительно негативный характер, позволяя нам объяснить некоторые вещи, происходящие за пределами доминантного режима. Напротив, именно о способах доминирования нечто существенное говорит то, что они выбирают из полного спектра актуальных и возможных человеческих практик и в результате исключают его. Трудности человеческой деятельности, осуществляемой вне или против доминантного режима, несомненно, реальны. Многое зависит от того, осуществляется ли эта деятельность в той сфере, которая представляет интерес для господствующего класса и доминантной культуры. Если интерес очевиден, многие новые практики будут затронуты им, и по возможности инкорпорированы, или же вовсе решительно искоренены. Но в определенных сферах в некоторые периоды будут существовать практики и смыслы, которые окажутся незатронутыми. Это будут сферы практики и смыслов, которые практически по определению, в силу их собственного ограниченного характера или в силу их глубокой бесформенности, ни при каких условиях не смогут быть распознаны доминантной культурой. Это позволяет нам взглянуть на примечательное различие между, например, действиями, предпринимаемыми в отношении писателей в капиталистическом государстве или такой стране, как нынешний Советский Союз. Так как с точки зрения всей марксистской традиции литература рассматривалась как важный и даже ключевой вид деятельности, советское государство более пристально следит за сферами, в которых формируются и выражаются различные версии практик, различные смыслы и ценности. В капиталистической практике если нечто не приносит прибыли или не имеет широкого распространения, то на какое-то время оно может быть оставлено без внимания, по крайней мере пока оно остается альтернативным. Когда же оно становится явно оппозиционным, на него обращают внимание или нападают.

Тем самым я утверждаю, что в любую отдельную эпоху доминантный режим представляет собой селекцию и организацию многообразия человеческих практик. Этот процесс селекции носит осознанный характер, по крайней мере, на стадии своего полного развития. Но всегда есть источники актуальной человеческой практики, которые он игнорирует или исключает. И эти источники могут качественно отличаться от формирующихся и сформулированных интересов восходящего класса. Например, они могут включать альтернативные способы восприятия других в рамках непосредственных личных отношений, или новые способы восприятия материалов и сред в искусстве и науке; и в известных пределах эти новые способы восприятия могут практиковаться. Отношения между двумя видами источников —

зарождающимся классом, с одной стороны, и насильственно исключенными или попросту новыми практиками, с другой — во все не обязаны быть противоречивыми. Временами они могут быть очень близки, и от отношения между ними многое зависит в политической практике. Хотя в культурном и в теоретическом плане эти сферы могут рассматриваться как различные.

Теперь, если мы вернемся к вопросу о культуре (cultural question) в наиболее привычной его форме — каковы отношения между искусством и обществом или литературой и обществом? — в свете предшествующей дискуссии, мы вынуждены будем сказать в первую очередь, что отношения между литературой и обществом не бывают такими абстрактными. Литература изначально представляет собой практику в обществе. Действительно, пока она и другие практики существуют, общество не может считаться полностью сформированным. Общество недоступно для анализа в полной мере, пока не учтены все из его практик. Но если мы это подчеркиваем, мы должны обратить внимание также на следующее: мы не можем отделить литературу и искусство от других видов социальных практик настолько, чтобы рассматривать их в свете некоторых специальных и ясных законов. Как практики они, вероятно, обладают весьма специфическими характеристиками, но они не могут быть отделены от общего социального процесса. Конечно, один из способов подчеркнуть это — утверждать, настаивать на том, что литература не может быть предназначена для функционирования в каком-либо одном из секторов, которые я пытался описать в рамках данной модели. Было бы легче сказать (и это привычная риторика), что литература оперирует в зарождающемся культурном секторе, что она репрезентирует новые чувства, новые смыслы и новые ценности. Мы можем теоретически сами себя в этом убедить при помощи абстрактных аргументов, но когда мы читаем множество разнообразных литературных произведений, не стремясь именовать Литературой только то, что мы уже выбрали как более или менее явное воплощение определенных смыслов и ценностей, расположенных на определенной шкале интенсивности, мы должны признать, что акт письма, устные и письменные практики дискурса, создание прозаических произведений, стихов, пьес и теорий, — вся эта деятельность имеет место во всех сферах культуры.

Литература возникает отнюдь не только в зарождающемся секторе, который на самом деле встречается очень редко. Большая часть писательской деятельности носит скорее остаточный характер, и это особенно верно для большей части английской литературы второй половины XX века. Некоторые из ее фундаментальных смыслов и ценностей относились к культурным

достижениям тех стадий развития общества, которые принадлежали далекому прошлому. Этот факт настолько широко распространен — а также интеллектуальные привычки, которые на нем основываются, — что в сознании многих «литература» и «прошлое» примечательным образом отождествляются, в результате чего делаются заявления об отсутствии в современности литературы: ее слава померкла. Однако преобладающая часть писательской деятельности в любой исторический период, включая наш собственный, представляет собой вклад в действующую доминантную культуру. В самом деле, многие характерные качества литературы — ее способность воплощать, вводить в действие и реализовывать определенные смыслы и ценности или уникальным образом создавать то, что в ином случае было бы лишь общими истинами — позволяют ей с исключительной мощью выполнять свою важную функцию. К литературе мы, конечно же, должны добавить визуальные искусства и музыку, а также весьма влиятельные в нашем обществе искусства кино и телевидения. Но общая теоретическая позиция должна быть ясна. Если мы пытаемся нащупать связь между литературой и обществом, мы не можем отделять эту конкретную практику от всего сформировавшегося корпуса других практик. Мы также не в праве, идентифицировав конкретный вид деятельности, приписывать ему единообразное, статичное и аисторичное отношение к некоторой абстрактной социальной формации. Искусство письма, а также творческие и исполнительские искусства во всем их многообразии представляют собой части культурного процесса во всех разнообразных модусах и областях, которые я пытался здесь описать. Они вносят вклад в действующую доминантную культуру и представляют собой основную форму ее артикуляции. Они воплощают остаточные смыслы и ценности, не все из которых инкорпорированы, хотя инкорпорированы многие. Они также — и притом весьма эффективно — выражают некоторые зарождающиеся практики и смыслы, хотя некоторые из них могут быть инкорпорированы по мере того, как они затрагивают людей и начинают волновать их. Так, в шестидесятые — в ряде видов зарождающегося перформативного искусства — было совершенно очевидно, что доминантная культура смогла или пытается трансформировать их. Конечно, в этом процессе трансформируется и сама доминантная культура: не в своей центральной структуре, но во многих из своих отдельных характеристик. Но в современном обществе она должна постоянно меняться, чтобы оставаться доминантной, чтобы мы продолжали воспринимать ее в качестве действительной основы всей нашей деятельности и интересов.

КРИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ С ПОЗИЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

В чем же может состоять значение этого общего анализа для анализа конкретных произведений искусства? Это вопрос, который, как кажется, занимает большую часть дискуссий о теории культуры: поиск метода, возможно даже методологии, благодаря которой конкретные произведения искусства могли бы быть поняты и описаны. Я сам не согласился бы с тем, что это и есть основное применение для теории культуры, но давайте на мгновение допустим это. Больше всего меня поражает, что почти все формы современной критической теории представляют собой теории *потребления*. То есть они стремятся понять объект таким образом, чтобы он мог быть с пользой или правильно потреблен. Самым ранним вариантом теории потребления была теория «вкуса», в которой практика и теория были связаны напрямую в метафоре. От вкуса произошло более возвышенное понятие «чувствительности», предполагающее потребление посредством чувствительности к возвышенным или глубоким произведениям, что считалось основной практикой чтения, а критическая активность в последствии стала функцией этой чувствительности. Но существовали и более развитые теории — в 1920-е годы в работах А. А. Ричардса, а затем в «новой критике», — в которых напрямую исследовались эффекты потребления. Речь о произведении искусства как объекте стала тогда гораздо более пространной. «Какой эффект данное произведение („поэма“, как это первоначально описывалось) производит в отношении меня?» Или: «Какое воздействие оно на меня оказывает?» — как этот вопрос стал впоследствии формулироваться в рамках значительно более широкой сферы исследований коммуникации. Вполне естественно, что идея произведения искусства как *объекта*, как *текста*, как изолированного артефакта стала основополагающей во всех этих поздних теориях потребления. Это было связано не только с недооценкой в то время практик *производства*, хотя эта недооценка тесно связана с представлением, согласно которому наиболее значительные литературные произведения были созданы в прошлом. Реальные социальные условия производства так или иначе игнорировались, так как в лучшем случае они считались вторичными. В качестве подлинных всегда рассматривались отношения между вкусом, чувствительностью или воспитанием читателя и этим изолированным произведением, этим объектом, «каков он есть сам по себе в действительности», каким большинство людей его воспринимали. Но понятие произведения искусства как объекта имело в дальнейшем значительные теоретические последствия. Если вы за-

даете вопросы о произведении искусства, понимаемом как объект, то эти вопросы, по всей вероятности, будут включать в себя и вопросы о компонентах его производства. Как раз здесь использование формулы базиса и надстройки и было полностью оправданным. Компоненты произведения искусства представляли собой реальную деятельность в рамках базиса, и вам следовало изучить конкретный объект, чтобы выявить эти компоненты. Иногда вы даже исследовали компоненты и затем проектировали объект. Но в любом случае искомым отношением было отношение между объектом и его компонентами. Но это верно не только для марксистского положения о базисе и надстройке. Это верно и для разного рода психологических теорий, рассматривающих в качестве компонентов произведений искусства либо архетипы, либо образы коллективного бессознательного, либо мифы и символы. Или же существует биография, психобиография или что-то подобное, компонентами которых являются обстоятельства человеческой жизни, тогда как произведение искусства представляет собой объект, в котором компоненты подобного рода становятся явными. Даже в некоторых более строгих формах «новой критики» и структуралистской критики сохраняется эта неперемнная процедура анализа произведения искусства в качестве объекта, разлагаемого на компоненты, даже если затем он может быть восстановлен.

ОБЪЕКТЫ И ПРАКТИКИ

Итак, как мне кажется, настоящий кризис в теории культуры, происходящий в нашу эпоху, разворачивается между этим восприятием произведения искусства в качестве объекта и альтернативным взглядом на искусство как на практику. Конечно, не раз утверждалось, что произведение искусства представляет собой объект: различные произведения остались от прошлого: конкретные скульптуры, картины, здания — все это и есть объекты. Разумеется, все это верно, однако тот же самый способ мышления применяется и к произведениям, которые не обладают таким сингулярным существованием. Нет никакого «Гамлета», никаких «Братьев Карамазовых», никакого «Грозового перевала» в том смысле, в каком есть отдельные произведения живописи. Также как никакая «Пятая симфония», и вообще никакое произведение из всей области музыки, танца и перформанса, не может быть объектом, хоть как-то сравнимым с теми произведениями визуальных искусств, которые сохранились до наших дней. И все же привычка отношения к подобным произведениям как к объектам сохранилась, поскольку она представля-

ет собой основную теоретическую и практическую предпосылку. Но в литературе (особенно в драме), в музыке и в очень обширной сфере перформативных искусств то, с чем мы постоянно имеем дело — это не объекты, а *нотации*. Эти нотации должны интерпретироваться активным образом, в соответствии с конкретными конвенциями. Но в действительности это верно и для более широкой сферы. Взаимосвязь между созданием произведения искусства и его рецепцией всегда носит активный характер и подчинена конвенциям, которые сами по себе суть формы (изменчивой) социальной организации и связи, и все это радикальным образом отличается от производства и потребления некоторого объекта. Строго говоря, она представляет собой деятельность и практику, и в своих доступных формах — хотя в некоторых видах искусства она может иметь характер единичных объектов — она остается доступной только через активную перцепцию и интерпретацию. Это делает случай нотации в таких искусствах, как драма, литература и музыка, лишь частным случаем более широкой истины. Что это может нам здесь поведать о практике анализа, так это то, что мы должны отказаться от общепринятой процедуры изоляции объекта и последующего выявления его компонентов. Мы же, напротив, должны сначала выявить природу практики и только затем ее условия.

Часто две эти процедуры могут частично походить друг на друга, но во многих других случаях они принципиально различны, и я бы хотел закончить свои рассуждения наблюдением касательно того, как это различие опирается на марксистскую традицию понимания отношения между первичными экономическими и социальными практиками, с одной стороны, и культурными практиками, с другой. Если мы будем исходить из того, что то, что произведено в рамках культурных практик представляет собой ряд объектов, нам останется только — как это происходит в наиболее актуальных формах социо-критической процедуры — приступить к выявлению их компонентов. В марксистской трактовке эти компоненты будут относиться к тому, что мы по обыкновению называем базисом. Затем мы изолируем некоторые характеристики, которые мы, так сказать, способны распознать *в форме компонентов*, или мы задаемся вопросом: через какой процесс трансформации или опосредования прошли эти компоненты, прежде чем они стали доступными нам.

Однако я полагаю, что нам следует отыскивать не компоненты продукта, но условия практики. Когда мы оказываемся перед конкретным произведением или группой произведений, зачастую ясно осознавая их сущностную общность и их неустрашимую индивидуальность, мы должны в первую очередь обратить внимание на реальность характерной для них практики, а так-

же на условия этой практики, как она была впоследствии осуществлена. И это тот пункт, исходя из которого, мы задаем совершенно разные вопросы. Возьмем, например, способ, каким объект — «текст» — связан с определенным жанром в ортодоксальной критике. Мы идентифицируем его по некоторыми основополагающим характеристикам, затем мы относим его к более широкой категории, к жанру, и затем мы сможем обнаружить компоненты жанра в конкретной социальной истории (хотя в некоторых вариантах критики не делается даже этого, а жанр рассматривается как некая неизменная категория сознания).

Это не тот способ действий, который сейчас требуется. Осознание взаимосвязи между коллективной формой и индивидуальным проектом (и это единственные категории, которые мы можем допустить изначально) — это осознание соответствующих практик. То есть абсолютно индивидуальные проекты, каковыми являются конкретные произведения, могут при восприятии или анализе продемонстрировать сходства, которые позволят нам сгруппировать их в коллективные формы. Это не обязательно должны быть жанры. Они могут существовать в качестве сходств как внутри, так и поверх жанров. Они вполне могут быть практикой группы в определенный период, нежели практикой фазы в рамках какого-то жанра. Но по мере того, как мы раскрываем природу конкретной практики и природу взаимосвязи между индивидуальным проектом и коллективной формой, мы замечаем, что мы анализируем в качестве двух форм одного и того же процесса как активное построение этого процесса, так и условия построения. Но и в том и в другом случае речь идет о комплексе расширяющихся активных связей. Это означает, конечно, что у нас нет никакой заданной процедуры того рода, на какую указывает фиксированный характер некоторого объекта. Мы располагаем принципами взаимосвязей практик в рамках некоторой организации, интенциональная структура которой поддается анализу, и у нас есть полезные для такого анализа понятия доминантного, остаточного и зарождающегося. Однако то, что мы так активно разыскиваем — это подлинная практика, которая была отчуждена в объект, и подлинные условия практики (будь то литературные конвенции или общественные отношения), отчужденные в компоненты или простой фон.

Это всего лишь общие утверждения, но они, как мне кажется, могут задавать точку разрыва и точку отсчета для практической и теоретической работы в рамках активной и самообновляющейся марксистской культурной традиции.

Перевод с английского Евы Рапопорт